

Кришан КУМАР

Марксизм и утопия

Утописты и революционеры

Несмотря на все различия между утопистом и революционером, в их характеристике много общего. И тот и другой мечтают о совершенстве. И тот и другой отвергают традиционное религиозное представление о человеке как о существе падшем или изначально несовершенном. При этом оба они не согласны и с положением современной либеральной мысли о том, что между устремлениями отдельной личности и потребностями общества существует постоянная напряженность, а возможно, и глубокое противоречие. И утопист, и революционер считают, что так называемый «первородный грех» частной собственности — всего лишь переходная стадия, которая в обществе социальной гармонии и расцвета личности будет преодолена.

Однако, хотя утопист и революционер мыслят во многом одинаково, тем не менее, между ними существуют различия. Ход мыслей революционера предполагает действие: его агитация и прочая деятельность направлены на изменение политического строя, причем зачастую насильственным способом. Утопист же традиционно довольствуется тем, что свои надежды относительно будущего человечества облекает в литературную форму, избирая то жанр путешествий, то сновидений, то романа. Разумеется, «Манифест коммунистической партии» и «Государство и революцию» можно расценивать как утопические трактаты, и все же их главное назначение — в мобилизации сил, в призыве к революционным действиям. Напротив, «Утопия» или «Вести ниоткуда» описывают царство «желанного», в котором воплощены надежды и мечты автора, не имеющего порой ни малейшего представления о том, как все это осуществить на практике. Слова Т. Мора, высказанные им в конце его «Утопии», несмотря на некоторую умышленную двусмысленность, можно, пожалуй, отнести к большинству утопистов: «...я охотно признаю, что в утопийской республике имеется очень много такого, чего я более желаю в наших государствах, нежели ожидаю»¹.

Приблизительно известно, когда в европейской истории утопист уступил место революционеру. Момент, когда с давних времен вынашиваемый проект «хорошего общества» перешел из сферы умозрительной в сферу насущную, практическую, наступил в XVIII в. в ходе Великой французской ре-

¹ Мор Т. Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии. М., 1971, с. 140.

волюции. Само понятие «революция» подверглось тогда коренному переосмыслению: оно стало означать не реставрацию, не возврат к более раннему (и лучшему) государственному устройству, а создание совершенно новой системы общества. В результате утопия либо отвергалась как эксцентрический старомодный образ мышления, либо поглощалась новыми революционными идеологиями, порожденными Французской революцией.

Во время этого процесса и произошло основное размежевание между типично утопическим и типично революционным образами мышления. Утопия по-прежнему продолжала детально описывать совершенное общество. В отличие от своих предшественников новые утописты, как и революционеры, представляли совершенным только общество будущего, но при этом оно виделось им уже полностью построенным. Как и прежде, еще со времен Платона, их интересовала преимущественно цель, конечный результат человеческих надежд и стремлений. Средства и пути достижения этих целей их мало волновали. Поэтому произведение У. Морриса «Вести ниоткуда» (1880) стоит как бы особняком, поскольку там ставится вопрос, «каким образом произойдут изменения». Другие авторы — Э. Беллами («Взгляд в прошлое», 1888), Г. Уэллс («Современная утопия», 1887), не говоря уже о Хадсоне («Хрустальный век», 1887), хотя и задаются в какой-то степени этим вопросом, но все-таки гораздо охотнее занимаются описанием будущего общества во всей его красе; цель их очевидна: чем притягательней образ этого общества, тем желанней оно будет для нас. (Хочу оговориться, что я никоим образом не стремлюсь преуменьшить практическую пользу, побуждение к действию, которые дало это направление «воспитания желаний».)

Типичной чертой революционеров было то, что они отказывались рисовать картины будущего, уже построенного общества. Для той школы революционной мысли, которая преобладала в XIX—XX вв., весьма характерно пренебрежительное высказывание К. Маркса о подобного рода утопиях: «Я не составляю меню для столовых будущего». Революционеры большое значение придавали не конечной форме будущего общества, а средствам ее достижения. К. Маркс вслед за Г. Гегелем высказался в высшей степени философски и при этом довольно абстрактно: общественное развитие проходит через стадии феодализма и капитализма к социализму, который является кульминационной точкой эволюции человечества. Другие революционеры, такие как О. Бланки и М. Бакунин, точно так же считали, что главная задача отнюдь не в описаниях общества будущего; для них самым важным было разработать способы разрушения современного им общества. У революционных теоретиков следующих поколений — В. Ленина, Мао, Гевары и др. — вопрос о средствах свелся, по существу, до уровня наставлений по ведению партизанской войны и подготовки восстаний. Технология средств, «магия средств», затмила собой революционные цели — «магию результата».

Итак, роль провозвестника будущего перешла от утописта к революционеру, и при этом произошли заметные изменения в психологии и характере. Великая французская революция, по словам А. Токвиля, породила «новую расу людей» — революционеров по призванию или по профессии. Утопистов и революционеров может объединять стремление к совершенству, но стремятся они к нему разными путями. Существует несколько способов рассказать о том, что их отличает. Можно, например, повторить хорошо известную характеристику английского юмориста М. Фрейна, который сказал, что утописты — это добрые «травоядные», а революционеры — кровожадные «плотоядные». Можно также противопоставить мечтателей-утопистов реалистам-революционерам. Далее, широко распространено представление о революционере как о человеке аскетичном, беспощадном, всецело преданном делу революции; утопист же часто кажется личностью экспан-

сивной, добродушной, таким любителем жизни во всех ее проявлениях; при этом память услужливо подсказывает имена Мора или Морриса и их прямую противоположность — Кромвеля, Робеспьера. Согласитесь, трудно себе представить, чтобы утопист сказал примерно то же, что Ленин Горькому во время исполнения «Аппассионаты» Бетховена: «...Часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно...»².

Противопоставляя характеры утописта и революционера, не следует делать это с излишней резкостью и поспешностью. Думая о «нежном и добром» Море, приветливом «человеке на все времена», вспомним и о том, что он беспощадно преследовал еретиков, с фанатическим упорством опровергал Лютера. На примере Мора можно также убедиться, что аскетизм не является качеством, присущим одним только революционерам. В то же время известны имена революционеров, таких как Дантон или Трoцкий, которым были свойственны исключительная широта взглядов и любовь к жизни, что и привело их к фатальному концу, ибо заставило забыть о своей роли революционера. (По этому поводу удачно выразился Дантон: «Нельзя устраивать заговоры и заниматься любовью в одно и то же время».) В области радикальной политики не следует фетишизировать психологические типы. Стремление представить обобщенный образ утописта или революционера ведет к тому, что мы их невольно обедняем, объясняем задним числом; категории, которыми мы пользуемся, зачастую бывают слишком грубы, чтобы ими можно было выразить нюансы, отличающие радикалов разных типов.

Рассматриваемый нами вопрос далеко не так прост, как может сначала показаться. Примерно в то самое время и по тем же причинам, когда на первый план в качестве пророка «хорошего общества» и «добрых времен» выступил революционер, вытеснив традиционного утописта, появляется еще одна фигура — утописта нового типа, своего рода теоретика. Сюда относятся А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье, Э. Кабэ, В. Вейтлинг. Эти люди уже не сочиняли утопий в традиционном смысле, не рисовали «живых картин будущего», наподобие Мора или Бэкона; они создавали, если можно так выразиться, утопическую социальную теорию: «научные» описания истории и общества, объясняющие, каким образом можно утопию осуществить и как это уже происходит.

Это были те самые люди, которых Маркс и Энгельс называли «социалистами-утопистами» (вопрос о взаимосвязи между марксизмом и утопическим социализмом будет рассмотрен ниже). Сен-Симон и Фурье неустанно стремились привлечь внимание богатых или известных людей к практическому осуществлению своих проектов. Но в большинстве случаев дело заканчивалось ничем, докучливыми советами пренебрегали. В отличие от революционера утопист-теоретик часто предстает идеалистом, неискушенным в земных делах; он не умеет найти нужных людей, готовых поддержать его проект, не может воплотить в жизнь своих идей. Его предполагаемые практические рецепты выглядят до такой степени нелепыми, что их нельзя принимать всерьез. В этом смысле Фурье являет собой наиболее законченный образ такого утописта-теоретика: вспомним его мечты о лимонадных морях, о 37 миллионах Гомеров, Ньютонов и Мольеров, которых, согласно его утверждениям, новый индустриальный мир должен был породить.

Но на примере Фурье, равно как и на примере любого другого утопи-

² Цит. по: Г о р ь к и й М. Соч., т. 16, с. 169. (Справедливости ради следует сказать, что Ленин заканчивает свою фразу следующим образом: «...хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми».)

ста-теоретика, можно убедиться, насколько велико было их идейное влияние, несмотря на несурзность и неудачу практических предложений. Взять хотя бы идею «фаланги», принадлежащую Фурье. Вот уже сколько раз она вновь и вновь возрождалась то в одном, то в другом месте: в Румынии прошлого века, у трансценденталистов Новой Англии, в царской России, современном Израиле, в западной " контр-культуре" шестидесятых годов. Порой кажется, что неудача одной попытки только способствует появлению другой. Конечно, у теоретиков-утопистов отсутствуют такие качества, присущие профессиональным революционерам, как умение все тщательно обдумать и неукоснительно исполнить, не говоря уже о твердости и непоколебимости, однако спорным остается вопрос о том, кто же из них в конечном счете оказал на общество большее практическое влияние.

Представители каждого направления — утописты, утописты-теоретики и революционеры — все внесли что-то свое в радикальное движение. Утописты дали мечту или желание, революционеры — энергию и практическую организацию, чтобы помочь эту мечту воплотить в жизнь. Утописты-теоретики сделали, возможно, самое интересное, поставив вопрос о соотношении между мечтой и действительностью. Если утопические эксперименты обернутся неудачей, то какое это будет иметь значение? Как это скажется на теории утопизма, на его идее? Как нам наилучшим образом оценить отношение утопической теории к утопической практике? Как и до какой степени должны они соответствовать друг другу?

Теория и практика

Теория и практика по сути своей являются различными видами деятельности. Как художник творит свой воображаемый мир, так и теоретик в области социальных наук констатирует различные состояния общества в чистом виде. Но в обоих случаях то, что создано воображением, в какой-то степени всегда связано с действительностью. Как бы ни был фантастичен и нов мир, придуманный художником, он всегда строится из кирпичиков реальной действительности; так, научная фантастика подтверждает справедливость сделанного З. Фрейдом замечания о том, что «воображение неизменно остается земным». Уместно поэтому предположить, что нет такой социальной теории, которая на каком-то уровне не воплотила бы в себе практику прошлого или настоящего. Если обратиться к «Общественному договору» Ж.-Ж. Руссо, то можно обнаружить, что он, придумывая свое общество, многое позаимствовал, хотя и в значительно переработанном виде, у классического греческого полиса, особенно у государства Спарты.

Так же справедливо и не менее важно и обратное: не существует человеческой практики, полностью свободной от теории, в основе которой не лежало бы то или иное теоретическое представление, весьма примитивное или тщательно разработанное. Нетрудно доказать, что любая человеческая деятельность базируется на нормах и ценностях, которые, в свою очередь, входят в более широкую систему убеждений, обладающую всеми основными признаками теории. С помощью теоретических объяснений и критики эту деятельность можно улучшить, придать ей новое направление. И в этом смысле всякая социальная теория является практикой или же стремится воплотиться в ней.

Вместе с тем взаимопроникновение и частичное совпадение совсем не то же самое, что единство. Несомненно, отдельные виды человеческой деятельности в силу определенных причин следует рассматривать в их единстве, как многоликое выражение нашего бытия в качестве «рода человеческого». Но безоговорочное объединение всех категорий деятельности, что зачастую свойственно отдельным течениям марксизма или структурализма,

может привести к детерминизму, что для нас неприемлемо. В отдельные периоды истории бывает особенно важно обращать внимание именно на плюрализм и разнообразие человеческой деятельности. Поэтому объединять теорию и практику — диалектически или нет — в одну общую категорию «практики», понимаемую как «единство теории и практики», означает смешивать два различных вида деятельности.

Существует, однако, другая, более старая традиция, которая отводит «практике» не столь высокое место, как это делают многие марксисты, в особенности Г. Лукач. Она идет от Аристотеля, который предлагал рассматривать *praxis* (познание действия) как один из видов человеческой деятельности. Кроме этого, он выделял еще *poiesis* (познание творчества) и *theoria* (познание истины). И для Платона, и для Аристотеля поиски истины (или красоты) являлись отдельным, совершенно самостоятельным видом деятельности. Теории и понятия имели утилитарную функцию — такова была предпосылка философской мудрости. Однако настаивать на том, чтобы теория находила применение в конкретной практике, означало неверное понимание отношения между теорией и практикой. Ценность теории заключается именно в ее отдаленности от практической действительности, в их несоотнесенности. Теория могла достичь эстетического и интеллектуального совершенства и полноты только будучи оторванной от практики, в этом заключался ее основной принцип. Только при таком условии могла она исполнить свою практическую задачу — вдохновлять на достижение идеала. Теория всегда внушает надежды на возможность своего осуществления на практике и постоянно не оправдывает их. Основная функция теории заключена в ее «ироническом» результате. Она исполняла свою задачу, выходя за пределы «практики», будучи метафоричной. Теория действовала в царстве Идеи, или идеального; она тем самым привлекала человечество к идеальному, которое казалось таким достижимым, а на самом деле все удалялось и удалялось. Встав на точку зрения Платона, мы не только согласимся с высказыванием М. Поляны, что «мы знаем больше, чем говорим», но пойдем дальше: мы знаем больше, чем можем исполнить.

Наше восприятие нас не обманывает, когда подсказывает нам, что многое в социальной теории является в каком-то смысле и на определенном уровне ответом на практические вопросы. «Республика» Платона была написана под влиянием угрозы разрушения античного полиса, а на «Левиафана» Гоббса оказала влияние анархия гражданской войны в Англии. Социология, появившаяся в прошлом веке, была ответом на проблемы молодого индустриального общества: быструю урбанизацию, все большее обнищание фабричных рабочих, с одной стороны, и растущее богатство — с другой.

Однако ни в коем случае не следует считать, что теория была своего рода лекарством от социальных недугов, под влиянием которых она возникла. Более того, остается неясным, предназначалась ли теория — какой бы серьезной она ни была — для исполнения этой практической функции, могла ли она ее исполнить. То прекрасное общество, которое описано в «Республике», невозможно было осуществить не только во времена Платона, но и в любую другую эпоху развития человечества. «Левиафан» не дал удовлетворения ни роялистам, ни сторонникам парламента, это произведение до сих пор смущает читателя тем, что преувеличивает значение суверенной власти, идеализирует ее. Трудно представить себе реальное общество, как оно описано в «Левиафане»; в настоящей жизни ничего подобного пока еще не появилось. К чему бы мы ни обращались — будь то концепции Маркса об отчуждении и свободе либо анализ, сделанный Э. Дюркгеймом, относительно аномии и индивидуализма, либо «идеально-типическая» рациональная бюрократия М. Вебера, — ни в одном из этих случаев мы не имеем дела с недостатками, которые можно исправить, или с идеала-

ми, которые можно осуществить на практике. Социальные условия, бесспорно, являются источником теории, но они не определяют и не могут определять ее предназначения. Теория сродни алхимии: в процессе своего становления она превращает материалы практики в чистые, идеальные формы.

Возможно, вопрос о взаимоотношении между утопической теорией и коммунистической практикой уже ясен: любая социальная теория является утопической, а социальная теория утопизма является таковой еще в большей степени. Функционалисты строят неосуществимые модели кон сенсуальных обществ; марксисты — неосуществимые модели конфликтных. Первые мечтают о непреходящих государствах спокойствия и гармонии; вторые — о революции, которая положит начало эпохе всеобщего освобождения. Два этих противоположных взгляда на природу человека и общества неверны не только в плане социальной теории, носящей утопический характер. Даже если обратиться к социальным понятиям более низкого уровня — семья, класс, государство, идеология, социальная роль, — мы по-прежнему будем пребывать в области теоретического совершенствования. Происходит утверждение таких принципов человеческого поведения и организации, которые, хотя и берут свое начало в эмпирической области, имеют целью идеальное состояние бытия: классы, которые коллективно осознают себя в качестве таковых; государства, являющиеся суверенными либо отражающими всеобщую волю народа; отдельные люди, поведение которых полностью укладывается в ту роль, которая определена для них согласно социальному сценарию.

На практике, однако, все происходит не совсем так, да и может ли быть иначе?! Но дело совсем не в этом. Нет ничего плохого или необычного в том, что теории и понятия обладают идеальными качествами. Они потому и являются теориями, что им свойственны логический экстремизм, тенденция к всеохватывающему обобщению. Теория — это одностороннее, «нереальное» — до размеров гротеска — преувеличение отдельных сторон социальной или личной жизни, которое выдается за истинную правду. В том и состоит ценность теории, что каждая новая теория — это новый взгляд на себя со стороны. С одной стороны, это описание, с другой — рецепт. Можем ли мы осуществить все это на деле — уже другой вопрос. Он относится к области практики, которая обладает своей собственной формой и логикой.

Нам, однако, не следует вставать на позиции веберизма, которое относится к описаниям и анализу как к научному идеалу, а в отношении ценностей придерживается нейтральной точки зрения. Даже сам Вебер не считал, что это в конечном счете возможно, а все, что нам известно о построении социальных теорий, только подтверждает эту точку зрения. Возможно, все это верно в отношении природы, однако в социальном мире дело обстоит иначе: люди скорее изобретают, нежели «открывают» его стороны, и по-другому они не могут. На их теориях лежит неизгладимая печать изобретательства или конструирования со всеми присущими им личными и социальными ценностями. Социальная теория вольно или невольно насквозь пронизана ценностями. Она несет в себе образ идеально прекрасной жизни, даже если иногда преподносится как единственно возможная жизнь. В блестящем эссе, восхваляющем утопическую мысль, Г. Уэллс совершенно справедливо отвечает позитивистам и приверженцам «научной социологии»: «Социологи не могут создавать Утопий; и хотя они стараются избежать этого слова, хотя они с жаром отрицают саму эту идею, само их молчание творит Утопию»³.

³Wells H. G. The So-Called Science of Sociology. «An Englishman Looks at the World». London, 1914, p. 205.

Теория может носить утопический характер, но является ли утопия теорией? Имеет ли смысл рассуждать о социальной теории утопизма и о ее отношении к практике? Ведь само слово «утопия» означает вымысел. Первые утопии, появившиеся в XVI в., подражали книгам о путешествиях; спустя два столетия самой близкой для них литературной формой стал роман. Он, как допускают многие социологи, часто несет в себе один из вариантов социальной теории. Так, например, совсем не трудно докопаться до весьма полной теории современного города в романах Ч. Диккенса и Ф. Достоевского. Но их произведения базируются на реальных наблюдениях за жизнью Лондона и Санкт-Петербурга прошлого века. В то же время нигде ведь не существует ни города, ни общества-утопии.

Исходя из этого очевидного факта, Р. Дарендорф решительно отрицает какую бы то ни было возможность связи между утопией и социальной действительностью. «Утопия означает Нигде, даже само построение утопического общества подразумевает, что у него нет эквивалента в жизни. Писатель, создающий свой мир Нигде, может пренебречь разными скучными подробностями нашей жизни. Он может населить Луну, позвонить на Марс, заставить цветы говорить, а лошадей — летать, он может даже остановить историю — и все это до тех пор, пока он не начнет мешать свой вымысел с реальностью, ибо в этом случае его ждет судьба Платона в Сиракузах, Оуэна в Гармонии, Ленина в России»⁴.

По всей вероятности, Дарендорф спутал утопическое произведение с обыкновенной научной фантастикой. Если обратиться ко всем известным утопиям, начиная с XVI в., то мы обнаружим, что уж они-то точно твердо стоят на земле и несут в себе все приметы своего времени. «Утопические идеи и фантазии», как сказал М. Финли, «как и всякие идеи и фантазии, вырастают на почве того общества, ответом на которое они являются»⁵. Таким образом, правомерность вопроса о соотношении утопии и действительности, утопической мысли и социальной практики нельзя безоговорочно отрицать, как стремятся нас убедить Дарендорф и многие другие социологи, привыкшие мыслить бескомпромиссно.

Тем не менее проблема остается. Нам довольно легко обнаружить в утопии признаки социальной теории. Некоторые из них были написаны с целью наглядной иллюстрации определенной социальной теории: например, «Взгляд в прошлое» Э. Беллами и «Вести ниоткуда» У. Морриса описывают два отличающихся друг от друга направления социализма. То же самое можно сказать и об «Уолдене-2» (1948), где изложены основы бихевиоризма; по словам автора Б. Скиннера, это произведение создавалось для воспитания его детей. Нетрудно также отыскать следы социальной теории, хотя и не столь отчетливо выраженной, в знаменитых антиутопиях О. Хаксли «Прекрасный новый мир» (1932) и Дж. Оруэлла «1984» (1949). Но как же быть с теми писателями, которые не создавали «утопии в картинах»? Что делать с Сен-Симоном, Оуэном и Фурье, т. е. с теми, кого Маркс и Энгельс называли «социалистами-утопистами»? Ведь никто из них не писал утопий в строгом смысле этого слова, не рисовал вымышленное общество, в котором мужчины и женщины живут счастливой, полноценной жизнью. Можно ли их тоже считать утопистами, а их теорию — утопической?

Для нашей дискуссии имеет значение лишь сделанное Марксом определение утопического социализма. Но как любая социальная теория может быть рассмотрена с точки зрения ее утопичности, так и в любом утопиче-

⁴Dahrendorf R. Essays in the Theory of Society. London, 1968, p. 112.

⁵Finley M. Utopianism Ancient and Modern. «The Critical Spirit». Boston, 1967, p. 6.

ском проекте можно найти черты той или иной социальной теории. Если знакомство с формами утопии способствует пониманию социальной теории, то и некоторые формы социальной теории помогают постигнуть утопический вымысел. Существуют такие социальные теории, которые, отвергая идею «первородного греха», отвергая представление о социальном бытии как о чем-то изначально неисправимом, утверждают, что человеческую природу можно совершенствовать, и становятся тем самым на позиции утопизма.

С исторической точки зрения это означает, что речь в основном идет о социальной теории, возникшей в XVIII в. и получившей затем свое дальнейшее развитие. Именно в то время, когда появились такие понятия, как прогресс, разум и революция, стали рассуждать о возможности совершенно нового социального устройства, где, приложив определенные усилия, можно достичь свободы и счастья людей. Ж.-Ж. Руссо и А. Тюрго, Морелли, М. Кондорсе, У. Годвин вводят нас в эпоху нравственной и материалистической теории, которая признает за человеком неограниченные возможности. Перед человечеством открывались новые миры, и живым подтверждением этому были научная и промышленная революции. Действие утопии больше не переносилось на забытые острова и в далекие высокогорные долины; теперь утопия предстает в виде теории, цель которой — переделать мир. Прежде (по традиции, идущей еще от Мора) утопия была некоей интеллектуальной безделушкой, предназначенной для гуманистов, предметом ученых споров и рассуждений. Теперь же ее характер совершенно изменился, в сферу ее внимания попал весь мир. Она предстает уже не в виде путевых заметок или элегантных сатирических произведений, а в виде новых убедительных школ «научной» социальной теории. Искать ее надо не в романах, а в учениях об общественном устройстве: в позитивизме, социализме, научном гуманизме, даже в либерализме.

Великая французская революция поставила вопрос о соотношении теории и практики, который требовал незамедлительного решения. Она пробудила утопические надежды, которые человечество вынашивало тысячелетиями, и она же их решительно отбросила. Вопрос о пути к утопии больше невозможно было игнорировать. До тех пор пока утопия оставалась объектом философских размышлений, а именно такой она была у Платона, Мора и их последователей, проблема ее реального воплощения не возникала. Однако новая социальная теория уже не могла себе позволить такого высокомерного отношения к действительности. Хотя ее цели были откровенно утопическими, она претендовала на научность и стремилась дать всесторонний анализ кризиса, в котором оказалось человечество, а также указать эффективные средства его преодоления.

Одно направление было представлено эволюционными теориями, согласно которым развитие человечества в прошлом, настоящем и будущем представляет собой путь прогресса, его кульминационная точка находится в будущем утопическом обществе. Второе направление видело свою задачу в создании утопии по точно продуманным чертежам; его представители сочиняли планы новой коммуны, нового общества, нового мира. Так или иначе, идея утопии вдруг выдвинулась на первый план, стала в центре внимания и тех, кто сочиняет теорию, и тех, кто ее осуществляет. В этой ситуации утопию больше не искали вне общества, где-то на краю Земли или у неизвестных народов. Современная утопия прочно выросла из современного общества; ее можно было создать только из современных материалов или не построить совсем.

Тот факт, что вопрос о путях достижения утопии выдвинулся на первый план, означал, что дилемма целей и средств стала неизбежной. Оказалось, что средства построения совершенного государства влияют на конечный результат, в какой-то степени определяют его характер. Оказалось, что воз-

можен и другой, ужасный путь (что до известной степени было продемонстрировано Великой французской революцией), ибо в зависимости от того, какие средства будут выбраны, можно было с равным успехом прийти не только к утопии, но и к антиутопии. Это означало, что впервые создателям утопий нужно было не просто указать путь, но и самим отправиться по нему в путешествие. Оставаться чистым теоретиком и не принимать участия в практическом деле было чревато тем, что все дело могло погибнуть вследствие неправильного толкования основных принципов и, соответственно, их неверного практического применения. Сколько бы современные ученые ни стремились доказать, что между утопистами-теоретиками и утопистами-практиками существовало функциональное разделение труда, в реальной жизни такого не было. Несмотря на идейные расхождения, Сен-Симон, Фурье, Оуэн и Маркс были едины в том, что не могли ограничиться одной только теоретической деятельностью, представляя другим возможность практического воплощения их идей. «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его»⁶ — этот знаменитый призыв Маркса к действию, к практике был предназначен не одному только пролетариату, которому предстояло исполнить свою революционную миссию. С этими словами Маркс и сам вступил на путь практики, отдавая делу все свои умственные силы, решая насущные практические задачи.

Не меньше Маркса презирал «кабинетных теоретиков» и Оуэн. Он, как и Маркс, тоже посвятил всю свою жизнь тому, что пытался осуществить свои теории на практике, пожертвовав при этом всем своим состоянием. Судьба уготовила им обоим разочарование, и это еще один вывод в пользу того, что у всех теорий XIX в. было много общего. Сознательно или бессознательно, но мыслители-ученые и мыслители-утописты пришли к тому, что в решающий момент теория, если она не подкреплена практикой, оказывается пустой и безнравственной. Истинность теории — а только она имела значение — заключалась в ее демонстрации на практике.

Марксизм и утопический социализм

После всего вышеизложенного возникает вопрос: если взгляды Оуэна и Маркса на единство теории и практики совпадали, то почему марксизм противопоставлял себя утопическому социализму? Что отличало точку зрения марксистов на проблему отношения теории к практике?

Марксизм расходился во взглядах с утопическим социализмом по двум основным вопросам. Социалисты-утописты, по мнению Маркса и Энгельса, наивно полагали, что наступление нового общества может произойти без ожесточенной классовой борьбы и революции. Сен-Симон сначала апеллировал к Директории, затем — к Наполеону, после него — к государственным деятелям, собравшимся на Венском конгрессе. Свой «Новый взгляд на общество» Оуэн сначала посвятил У. Уилберфорсу, затем «британским гражданам», английским промышленникам и, наконец, принцу-регенту. Оба эти примера хорошо известны; считается, что они свидетельствуют об утопической невинности ранних социалистов. Рассуждая по-прежнему в рамках рационализма эпохи Просвещения, они обращались к добрым и бескорыстным чувствам человечества и верили, что оно не останется глухо к голосу рассудка, верили в торжество разума. Социализм для них, как сказал Энгельс, «есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости, и стоит только его открыть, чтобы он своей собственной силой покорил весь мир»⁷.

⁶Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 4.

⁷Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 201.

Их социологическое неведение происходило из глубокого непонимания сущности общественной эволюции и хода современной истории. Несмотря на то что они первыми поняли все значение индустриальной революции, они не нашли ей места в общей теории социального развития. Те из них (например Сен-Симон), кто это сделал, ошибочно считали, что новое устройство мира, где царят всеобщие свобода и благополучие, уже не за горами. Общей тенденцией для утопических социалистов была попытка поспешного создания нового общества, когда необходимые для этого элементы еще не успели развиться. Эволюция капиталистического индустриального общества представлялась им в ракурсном сокращении, как и сопутствующая ей борьба. «Они не признают,— жаловался Энгельс по поводу английских оуэнистов,— исторического развития и поэтому хотят перевести страну в коммунистическое состояние тотчас же, немедленно, а не путем дальнейшего развертывания политической борьбы до ее завершения, при котором она сама себя упразднит»⁸.

Несмотря на отсутствие социологического понимания и историзма, социалисты-утописты пробовали осуществить самые разные проекты, которые хотя и приносили удовлетворение их участникам, все же не могли проложить путь к будущему социалистическому обществу. Проекты эти — иногда они служили забавой для филантропов и идеалистов — являлись попыткой «осуществить свое освобождение за спиной общества, частным путем»⁹, а не с помощью революционирования самого общества. Маркс и Энгельс писали, что утописты-социалисты «все еще мечтают об осуществлении, путем опытов, своих общественных утопий, об учреждении отдельных фаланстеров, об основании внутренних колоний, об устройстве маленькой Икаррии — карманного издания нового Иерусалима...»¹⁰.

Важно, что марксисты расходились с социалистами-утопистами только по вопросу средств достижения цели, а не по вопросу самих целей. Перечисляя положения, выдвинутые Оуэном и другими утопистами — преодоление различий между городом и деревней, улучшение семейных отношений, вопросы наемного труда, государства,— Маркс и Энгельс высоко оценивали тот вклад, который их авторы внесли в дело «просвещения рабочего класса». В утопиях Фурье или Оуэна, как писал Маркс, есть предвосхищение и фантастическое изображение нового мира. Чисто утопический характер их учению придавало ни на чем не основанное предположение об «исчезновении классового антагонизма», и это в то время, когда эти классовые противоречия еще находились в зачаточном состоянии¹¹.

В своем первом наброске работы «Гражданская война во Франции», в отрывке, который во втором варианте был опущен, Маркс, вдохновляясь утопическими целями Парижской коммуны, еще раз останавливается на том, что было у него общего с социалистами-утопистами — на целях. «Утописты, основатели сект, (описали) ... цели социального движения — отмену системы наемного труда со всеми ее экономическими условиями классового господства... С того момента как движение рабочего класса стало действительностью, фантастические утопии исчезли — не потому, что рабочий класс отказался от цели, к которой стремились эти утописты, а потому, что он нашел действительные средства ее осуществления... Конечные цели движения, провозглашенные утопистами, являются... целями, провозглашенными Парижской коммуной и Интернационалом. Только средства различ-

⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 460.

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 460.

¹⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 127.

¹¹ См. там же, с. 457.

ны, а реальные условия движения не опутаны больше туманом утопических басен»¹².

Итак, цели утопистов и марксистов были общими, однако критика говорит о том, что избранные марксистами средства отличались большим реализмом. Посмотрим же, как марксизм понимал отношение между теорией и практикой, какими он представлял себе пути построения социализма. То есть рассмотрим ту роль, которая приписывалась пролетариату как движущей силе исторических изменений вообще и орудию революции, призванной установить социалистический строй, в частности.

Надежды, которые марксисты связывают с пролетариатом, с таким же успехом можно отнести к реалистическому пониманию истории, как и просто к вере и философской логике. Нигде пролетариат не исполнил той задачи, которая ему приписывалась, более того, нет ни малейших признаков того, что он это сделает в будущем (это вовсе не означает, что он не может или не хочет ее исполнить). Те страны, где под знаменем марксизма совершились революции, были не индустриальными, как ожидал Маркс, а крестьянскими. Поэтому отношение практики этих революций к марксистской теории остается таким же проблематичным, как если бы мы рассматривали их отношение к теории утопического социализма или любой другой.

Мы поэтому не будем обращать внимание на полемику марксистов с утопическими социалистами, на то, что, по мнению марксистов, их отличает; мы не будем благословлять одних, называя их подход «научным» или «реалистическим», и не будем осуждать других за «фантастичность» и «непрактичность». И тот и другой подходы можно считать разновидностями утопии. Но это вовсе не означает — как, я надеюсь, стало уже ясно из данной статьи, — что мы относимся к ним пренебрежительно. Просто утопический социализм и марксизм являются разными видами одной социальной теории, которая может по праву называться утопической социальной теорией. Она рассказывает нам об обществе и социальных изменениях, целью которых является коренное преобразование жизни человека. На пути этого преобразования она не видит никаких препятствий — ни в лице природы человека, ни в лице природы общества.

Утопическая социальная теория, как и всякая другая, дает определение средствам и целям, возвышает и те и другие. Большие цели нуждаются в больших средствах. Ее представление об обществе включает в себя вполне, как она считает, достижимую стадию совершенства; средства для создания этого совершенного общества обладают тоже весьма грандиозным и величественным характером. Маркс теоретически обосновывал возникновение в мировом масштабе сознательного пролетариата, который будет обладать всеми знаниями, уже созданными человечеством, равно как и теми, которые предстоит создать; пролетариата, которому в эволюционном развитии будет принадлежать исключительная роль. Социалисты-утописты тоже представляли себе новое общество, однако их путь к нему был не таким прямым и всеобъемлющим. Вот почему можно предположить (а на самом деле так оно и есть), что они, а не марксисты были большими реалистами.

© К. Кумар, 1992

© А. Владимирова, перевод на русский, 1992

¹² Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 17, с. 562—563.